красная книга русской прозы

Василь Быков

Сотников

повести

Сотников

Василий Владимирович Быков

Аннотация
Василь Быков. Сотников
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая

Аннотация

Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тёплых вещах, медикаментах для раненых. Командир решает отправить на задание по их доставке двух проверенных бойцов…

Трагическая повесть о мужестве и трусости, о достоинстве и неодолимой силе духа.

Василь Быков
Сотников

Глава первая

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели вперемежку с ольшаником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, — было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегала здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более

чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках[1], как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине послышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

---

[1] Примечания: 1

Бурки — теплые высокие сапоги, обычно из войлока или фетра на кожаной подошве.

— А! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. — Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что в общем беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от

простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко, — ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздирающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше

снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поесть бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится, — глухо согласился Сотников. — Неделю на пареной ржи...

— Да уж и паренка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал, — сказал Рыбак и замолчал, ста-

раясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью будет и дом с сараями и задранным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно чувствуя близость жилья, волк осторожно и нешироко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь

было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока

не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофлянища, и стояла когда-то та самая пунька[2], на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь

---

[2] Примечания: 2

Пунька (пуня) — сарай для хранения мякины, сена и т.п.

перед ним было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор.

— Подрубали называется! — бросил Рыбак, уныло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то, — сипло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и, когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармони. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными, — больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуть-

ся. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согреет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали, — оборвал разговор

Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! А то, гляди, совсем окочуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся, не может быть...

Глава вторая

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, которое сегодня вдобавок ко всему начало еще и лихорадить.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубок, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный

сумрак вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, и тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он

почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова, и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже, — подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озяб-

шим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего... И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче, — издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной лощине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже

скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, по отсюда ему плохо было видно, что именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес, а вокруг стыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, вгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колеям дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной про-

стор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал

дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик, не разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться, — решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. — Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай, — односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверное, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток пробиралась из-под Слонима на восток небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка[3]. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, без-

[3] Примечания: 3

Корпусная артиллерия - вид строевой артиллерии, оновное назначение которой — борьба с артиллерией противника, с дальними целями в глубине его оборонительной полосы и с прочными оборонительными сооружениями. Эти задачи требуют очень дальнобойных пушек и очень мощных гаубиц.

условно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леска. Сотников опять приотстал, его суконные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шоркали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блестел с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода; как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его полнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. В тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний

фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны слагается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груду покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали

окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно палили вверх из винтовок, но пользы от такой их стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном в батарее тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что им и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались обнаглевшие «юнкерсы» и «хейнкели», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западно-белорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале:

несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снарядных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак: ПНШ[4], закуривший из его пачки, намекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне,

[4] Примечания: 4
ПНШ — помощник начальника штаба.

навстречу шли пехотинцы; невдалеке, видно было в ночи, зажженное авиацией, что-то горело ярким, на полнеба, пламенем — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте не много увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячей волной взрыва, он тут же вскочил: «Комсомолец» сильно осел на правую гусеницу. И тут началось...

Как раз светало, за вербами ярко синел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батарее развернуться вправо и влево, но не так

просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрав вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало соляровым дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться, — они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покореженные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было уже заряжено), дрожащими руками кое-как довернул толстенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке

страшилище на перекрестие панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу, из-под незакрепленных сошников, брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат вперил гаубичный ствол в его серое лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто яичная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых

и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, второй или третий снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось, последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка; рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло, тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу.

Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под лавой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но чувствовал, что оглох: взрывы вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив, за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка.

Потрясенный неожиданностью разгрома, Сотников минуту осоловело смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью

лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда...

Глава третья

Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, они проходили стороной по дороге, но в деревню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало заботило — важнее было определить, нет ли там немцев или полицаев, чтобы ненароком не угодить в западню.

Он недолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахнуло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо, — негромко сказал Рыбак. — Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе, — там начиналась улица. Но возле крайней всегда больший риск напороться на неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригуменье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак сделал по ней два шага, но тут же соступил в снег — на тропке пронзительно заскрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли так, по обе стороны стежки, к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук — во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в

деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека — завидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то возился с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, заслышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она замерла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался — он уже знал, что в этой деревне спокойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи боже, и напугалась же! Ой, господи...

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в де-

ревне много?

— А нет полицаев. Был один, так в местечко перебрался. А больше нет.

— Так, — Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла. — Деревня как называется?

— Лясины. Лясины деревня, — полная внимания и еще не прошедшего испуга, отвечала тетка.

Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо бы тут и отовариться: подход-выход хороший, на пути гумно, лесок — если что, все это прикроет их от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я, — будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу, — вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наверно старалась угадать тайную цель их ночного визита.

Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, раз-

жалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто, — упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора. — Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться, иродам!

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит не врет, можно верить. И он про себя недовольно чмыхнул, поняв, что и здесь, наверно, ничего не выйдет, — не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине.

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую настороженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорище. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удальства работе.

На четвертом ударе трещина криво обежала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сынок. Дай тебе бог здоровьичка, — без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь...

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется,

там топили: ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Петра Качан. Он теперь старостой тут, — простодушно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутошний.

Рыбак, помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак при-

метил в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки — и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота завертку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом в наброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер, — со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным пристуком закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и не догадывался, кто они, эти непрошеные ночные пришельцы.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг.

Старик вздохнул и, наверно поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну, — сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом.

В то время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове

платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежли за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пень — не принимает ли он их за полицаев? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки, — обрадовалась приглашению хозяина женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова. — Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой...

— Можно и присесть, — согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к

побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насунута на приморожденные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Боится», — подумал Рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет, — с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж, голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего...

Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланной

нерешительностью обратился он к Сотникову. — Подкрепимся, если пани старостиха угощает...

— Вот и хорошо. Я сейчас, — обрадовалась женщина. — Капусточка, наверно, теплая еще. И это... Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда, — решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу.

Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится, — вздохнул старик. — Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак. — Видно,

с характером».

В березовой раме на стене среди полдюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно-спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш, — ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиции случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был...

— Ой, божечка, как пошел в тридцать девятом, так больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили... — ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха.

— Так, так, — сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику: — Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь, — с жаром подхватила от печи хозяйка. —

Опозорил и сына и всех чисто...

Это было несколько неожиданно, тем более что старостиха говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста вперил укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не его в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу: — Ваша вина.

— Да-а, — неопределенно произнес Рыбак, не поддержав малоприятный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода.

Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам, — с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем, — сказал он Сотникову.

Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно мало понимая состояние гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо, — решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так из-

вините...

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю, — сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, однако, почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной

книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать, — проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул библию.

— Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг, — сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечавший обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке. — Ты враг. А с врагами у нас знаешь какой разговор?

— Смотря кому враг, — будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом Советской державы. Заводить долгий разговор с ним Рыбак не имел никакого

желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой, — сказал хозяин.

— Значит, сам.

— Как сказать. Вроде так.

«Тогда все ясно, — подумал Рыбак, — не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого начала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и, несмотря на годы, большой и плечистый — встав, заслонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене. — Ну!

Видно, старостиха привыкла к послушанию — всхлипнула напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие.

Вон, — он коротко кивнул на простенок, — ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин; действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким тоном не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиха. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что, — безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста.

Старостиха перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал: было весьма соблазнительно пригнать в лес ко-

рову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча распахнул дверь. Направляясь за ним, Рыбак кивнул Сотникову:

— Ты подожди.

Глава четвертая

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, господи!

— Назад! — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери.

Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они

там...

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверно, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове.

Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выгоры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колупавшейся в грядках. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая темная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально вгляделась в него, слушая и будто не понимая его

такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как попасть на тропинку и перейти кладки, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное же, голодный», — торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сынок» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком»[5] — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видать, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись...

Старостиха тем временем все не могла успоко-

---

[5] Примечания: 5

От белорусского «гаротнік» - горемыка, несчастливец.

иться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!

— Надо было раньше о том думать, — холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало просила! На какое же лихо ему было браться? Были которые помоложе. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не боятся?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут весь век свой живем, нашей вон родни полсела. Он же старается ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок, — не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют: то хлеб сдай, то одежку какую собери, то на дорогу приказывают выгонять снег чистить. А он же где возьмет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят. А как же? Чтоб их бог ограбил! Приехали на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Говорят: сын в Красной Армии, так чтоб

вину сгладить перед Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их Германия!

«Проклинай, но не очень я поверю тебе», — сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда, однажды ему послышалось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины, испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно. И он обмер в растерянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на их рукавах белели повязки, а рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал той ласковой тетке, — он только от-

толкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверно, в овражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полицаям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сынок», «деточка»...

Старостиха не слыша ничего страшного со двора, немного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутошние мужики упросили. Ой, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лясинах, еще никакого старосты нету. Ну, мужики и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так, — говорят, — тебе их норов знаком, потерпи каких пару месяцев, пока наши вернутся. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Будила этот тоже из Лясин, плохой — страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт бы по нем плакал... Так это Петра, дурака, и уговорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горюшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще наганом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи, и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то начинал бить так, что кололо в мозгу. Старостиху он слушал и не слушал, вникать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, мало трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные, причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогло ему сохранить твердость своих

позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не ударился о стену. Хозяйка, сама испугавшись, кое-как поддержала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной! Ах божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как хрипит все в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько заварю...

Она с искренней готовностью помочь, юркнула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и впрямь его дело дрянь, если так забеспокоилась эта тетка.

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уже ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже примечаю. Если, может, некогда, то на малинки сухой, может, заваришь где-либо, попьешь. А это вот зельечко...

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не

желал этой тетке хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. В это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал и с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднять на плечи.

— Так. Ты иди, — ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте, — и прикрой дверь. Нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакомому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу.

Сотников потащился следом.

Глава пятая

Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по-ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине — откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты, хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под ношей, не слишком уже

и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверное, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником, но что поделаешь: разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой и тогда, наверное, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем нетяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Ахрему: не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недол-

гому по войне примаку[6].

Ну что ж, если бы не война! Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой, глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в избу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло, водворилась новая, немецкая, власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время, и тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала

---

[6] Примечания: 6

Примак - муж, принятый в семью жены, живущий в доме жены.

пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой, и, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы — кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, — начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жен. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо — так надо: дело

военное». И он, и тетка Гануля собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случалось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие.

В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту,

по потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удержать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе...

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным: наверно, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они

могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.

— Ну как? Ничего?

— Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется, — отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не приметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их

напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что это чуть слышный топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу — разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвиж-

ные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге: их оказалось двое — вторые почти впритык следовали за первыми. Но седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься,

чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось уже немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — там бы они, наверно, ушли: Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попались!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так

несли его, что Рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было то, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздались сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было оглянуться с овцой, — Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно,

увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж... Как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине ощетинился голыми ветвями ольшаник, в рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало Рыбака: значит, оторвался, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти.

Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху, с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека, и, хотя пока не бегут к нему — они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так случилось во время финской, когда проклятые

кукушки[7] набивали по четыре-пять человек за минуту, и все тем же самым примитивным способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих понимал, что его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота.

Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все

[7] Примечания: 7

«Кукушки» - так во время советско-финской войны 1939—1940 гг. называли финских военнослужащих - снайперов и автоматчиков, использовавших замаскированные позиции на деревьях.

тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вряд ли его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали, за кустарником, грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось», — подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение кото-

рой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

Глава шестая

Сотников не имел намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся.

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко

от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверно заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет, — в правом бедре вдруг запекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло

лишь трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.

Сзади опять послышались голоса — наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вываляны в снегу, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание — двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, двое сзади, — неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел; что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он

понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений, — страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется. Но он был в сознании и

имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильней стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдается, они там по всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда — на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все

больше; от стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут — постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка поташнивало. Он испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, — не сдаться живым.

Сотников осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой.

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он уже утратил всякое ощу-

щение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок я приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было, Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым его не возьмут. Но у

него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились...

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела, месяц вверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаю...

Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись — возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел: они возвращались к дороге.

Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что опасался напрасно: невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отравились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Однако новый поворот дела даже воодушевил его — с одним можно было побороться. Пло-

хо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле — стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по по-

лю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он натянул его хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб.

И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос:

— Сотников, Сотников...

Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак! Сотников отчетливо расслышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: гибель откладывается.

Глава седьмая

Они поползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок, на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицай все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял снег в рукавах и за воротником полушубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади

никого не было, полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну, как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо, — едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то... обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может...

Слабо заворошившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую

ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах, то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не но себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще как-либо удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стылые ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом, иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии — не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, Рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма, — глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться.

— И откуда их черт принес? — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. — Вот уж действительно: беда одна не ходит...

Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндевевшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит, — буркнул Сотников.

— Терпи, — грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отозвалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не

чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и Рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь...

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, пробуй», — подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее,

как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо тащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро настигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутиться.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз, оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь.

Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами: в одном месте что-то неясно зачернело, и, подойдя ближе, Рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник в который уж раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к то-

варищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться...

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Он недолго постоял над Сотниковым, который немощно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только поддаться испугу, занервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же

хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц и поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле: глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно рощица, очень уж куцая рощица — гривка[8] в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, нечеткие силуэты кустов. По вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на

[8] Примечания: 8

Грива - небольшая возвышенность с пологими склонами, поросшая рощей.

снегу в темноватую полоску дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как никогда кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

С помощью Рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложе винтовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если

бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью, к тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой — другого выхода не было.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор, дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они потащились в сторону рощи.

Глава восьмая

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилевшее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и закостенел; другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег.

Покамест они добрели до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в лощине тянулись заросли мелколесья, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заме-

тить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный, встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни: ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.

— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не

стоять же так, посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось, послано богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки, и раскидистые суковатые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толщенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем исстрадалось,

намерзлось, зашлось глубинной неутихающей болью.

Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем Сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости Рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел бы ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего в гумне перепрячемся.

«Подождать — это хорошо, — подумал Сотников, — лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дождаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросился в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку.

Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверно, давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал оди-

нокий камень, не было даже креста. Струхлевшая оградка доживала свой век — видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал: «Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это возможно? И зачем это надо?

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определятся счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе,

наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?»

Сотников на всю жизнь запомнил, как летом в полевом шталаге немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унизил ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно ожидая решения

свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли, но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле боя; ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих (они случайно оказались рядом, за стенкой барака).

Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел Рыбака. Вместо того чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого...

— Ну?

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет, — заметно обрадовался Рыбак. — А мне надо... Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим... А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно, — нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели, и все прочее.

Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладел с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше: по крайней мере на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук; угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до

этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свеженатоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы, — там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.

— Ну.

— А отец где?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят, — тише сказал Рыбак. — Ты чем покормить нас найдешь?

— А бульбочку мамка утром варила, — отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокоченными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке[9]. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверно, страшноватых, но, безусловно, интерес-

[9] Примечания: 9

Загнетка - место на шестке (площадке перед устьем русской печи), куда сгребаются горячие угли.

ных для нее людей.

— Ну, давай подрубаем, — подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшееся его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз.

— А хлеба что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне

уже девять.

— Много. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать твою как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Дёмчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян?

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно потянулся за новой картофелиной, под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать? Пацанка еще.

— А вот и знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, ранили, да?

— Ранили или нет, о том ни гугу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегаю, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди...

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят

колонной в лес — реденький соснячок при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют. Они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты, наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали[10] с теми, что были на краю соснячка, затем прозвучала команда всем сесть — как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и

---

[10] Примечания: 10

Гергетать (горготать) - громко смеяться, гоготать, ржать

под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно — обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». — «Разве неясно что». Сотников осторожно повел в сторону взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке — опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир

этот был сильный, приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителе; из-под мокроватой с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крякнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец, ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, тотчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его

головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторяя про себя: «Жив! Жив!»

К сожалению, соснячок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась, впереди разлеглось уставленное рядами крестцов[11] сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше — по стерне через поле, туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую, с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, и Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его

---

[11] Примечания: 11

Крестец - небольшая копна крестообразной кладки.

с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевясло[12] — солома, туго пырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень — обычный, размером в кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников

---

[12] Примечания: 12

Перевясло - жгут из соломы для перевязки снопов.

швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец сгоряча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать коня, — и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы, а также ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда; и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там

он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве[13], мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

[13] Примечания: 13
Прорва - топкое место, трясина.

Глава девятая

Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно, уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя — приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.

Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на проходе отодвигалась дерюжка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за

перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пузырьков от лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно, — думал он, — заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать».

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное

чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты — характером его бог не обделил, энергии также хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень не сладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем ему пока что везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, мамка, а у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы под-

хватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека.

— Здравствуйте, хозяйка, — со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. — Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал Рыбак, — что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее — свалянные, нечесаные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила пла-

ток на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. — Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы, — сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы только по зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибирать возле печи: горшки — на загнетку, ведро — к порогу, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала; продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей. — Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотлеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. — Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Дёмчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полицая, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при Советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.

— А где твой Демка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Демку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям. Рыбак все думал, не зная, как наконец подступиться к Дёмчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее.

— Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Дёмчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему, — сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Дёмчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо, — сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезшими клочьями серой ваты, измятую телогрейку. — На, все мягче будет.

«Так, — мысленно отметил Рыбак. — Это другое дело. Может, еще подобреет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным.

— Больной, — уже другим тоном, спокойнее сказала Дёмчиха. — Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет — отмахнулся рукой Рыбак. — Ничего страшного.

— Ну конечно, вам все не страшно, — начала сердиться хозяйка. — И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиться, вспотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее, — кашляя, сказал Сотников.

Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко раскраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях.

— Что же еще может быть хуже? — допытывалась Дёмчиха, убирая со стола миски. — Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим, — шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунками. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички — рану обмыть. Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали, — как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват. — Говорят, одного полицая подстрелили.

— Полицая?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верно, — улыбнулся на конце скамейки Рыбак. — Они все знают.

Дёмчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугунке и направилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно, — согласился Рыбак и ступил к Сотникову. — Давай бурок снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей

также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец рану. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком-вокруг и с виду вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое, — озабоченно сказал Рыбак. — Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь, — начал раздражаться Сотников. — Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Нога Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягался и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Дёмчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стес-

нительно съежился.

— Не бойтесь! Нате вот, перевязывайте, чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон и, как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая, — сказала Дёмчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка. — Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужаленный он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица, — он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок.

Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла, кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стежке, как раз, наверно, по их недавним следам. Как только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного

на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Дёмчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Дёмчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Дёмчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу; Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стены.

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала

снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом, костра[14] из пакли обсыпала лицо и кололась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же они старались не

---

[14] Примечания: 14

Костра' - остатки стеблей льна, конопли после трепания и чесания.

пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Дёмчихой.

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицаи, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется направляясь к двери. Дёмчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости, — глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей, — был им ответ.

«Э, не надо так, — с сожалением пронеслось в голове у Рыбака. — Зачем задираться!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть!

— А у меня лавка, что ли??

— Тогда гони пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам наделаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос. — Партизан так, наверно, сметанкой кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения: а вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет, пока что стучали в сенях, наверно, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост-засада — будут караулить дорогу.

Они все еще шарили в сенях, как Сотников рядом неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверью, и вскоре их голоса

приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Дёмчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевывал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неуемных потугах. Но, видимо, было поздно — их уже услышали.

— Кто там? — наконец прозвучало внизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет, — слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Дёмчиха.

Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стась! — властно скомандовал громкий свирепый бас.

Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — громким басом командовал внизу полицай.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Дёмчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей.

Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицай все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел снизу командирский бас. — Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! На автомат! Автоматом чесани!

«Это уже все, точка», — сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было кончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал будто нежи-

вой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже даже перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уж не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу мать! —

ласковой бранью приветствовал их полицай, взбираясь на чердак.

Глава десятая

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев, не очень боялся, что могут убить, — его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака да и Дёмчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Дёмчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались, пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Дёмчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а

Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель, — так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу — в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, али вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Дёмчиха.

Старший полицай важно повернулся к другому, в кубанке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось, — выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины.

— Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников. — За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его.

Он не мог не вступиться за эту несчастную Дёмчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол в винтовку.

— Будет знать за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал.

В сенях их обыскали: выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными супонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Дёмчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеней обжигал больную грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже приморожденные уши — пилотку он потерял где-то, наверное на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела ра-

неная нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь уж все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли, — может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплевывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Рыбак взглянул на него и снова опустил го-

лову.

— А теперь вас помоют-побанят и того, мало-мало подвесят. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицай так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый!» Но смех этого малого как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицай разразился матом: — Такие-сякие немазаные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам размотаем кишки!

— Не знаем мы никакого Ходоронка, — уныло сказал Рыбак.

— Ах не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Поняли?

Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Рыбак негромко спросил:

— В армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг

еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сеней.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка комиссара взял. Тому не понадобится, — сказал полицай и, продолжительно посмотрев на Рыбака, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову.

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками, и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял, ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в бога душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа

на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицай. Возчик — староватый, напуганный дядька в рваном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он превозмогал немощь и боль.

Из избы почему-то не возвращался старший полицай, за ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Дёмчихи. Сотников с тревогой вслушивался — оставят ее или нет? Минуту, похоже было, там что-то искали: постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно, запричитала Дёмчиха:

— Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердные!..

— Живо!

Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком; заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке, возле ограды, они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Дёмчиху. Бедная тетка! Бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицай

вызверялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Дёмчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гэлечка моя, как же ты будешь?!

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты погань несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запроданец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой.

Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Дёмчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно

завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная баба.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи! Истязатели!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.

Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой его угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы!

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабо? — Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался.

Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни, — сказал он с расчетом на Рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. — Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать, — закивал головой Стась и опустил винтовку. — Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на твоего Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным, лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро, ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись — больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню — лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого

задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что, если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу, наверно, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову. Можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками — всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас. Если бы не Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из

Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гастинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и Рыбак подумал: хана! Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и Рыбак с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и мелкий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверно, он подстрелил нескольких фрицев. Они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало, Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее какая-то пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел

немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может, потому вместе попали на это задание.

Но теперь конец, это точно. Неважно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же...

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой воз-

можности, а потом им связали руки, — сколько он незаметно ни выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть?

А может, стоило попытать счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, Рыбак тем не менее все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.

Глава одиннадцатая

В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака и за Дёмчиху. Особенно его беспокоила Дёмчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников.

Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак, потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, в морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то

заливалась лаем собака; бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли и Сотников и Рыбак.

Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле; селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться.

Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полицая в длинном караульном тулупе, с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверно, бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Полицай, наверное, ждал их и, когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный, очищенный от снега двор, со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце

сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка.

— Привезли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась. — Мы да кабы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор — отсюда уже не убежишь. Пока возчик и Рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда — сельского оплота немецкой власти. Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной.

— Давай их сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей, — поодаль отряхивались полицаи и

обреченно стояла Дёмчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сгорбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке. Изо рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней — как ни повернись, болью заходилась нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Дёмчиху и, как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы.

— Ты что? Ты что, чмур?! — взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога.

Адская боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай:

— Ах ты, выродок комиссарский! Ишь заступник нашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицая бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой захлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял от пола лицо. В помещении никого больше не было, это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда уже не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась неуютной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одея-

лом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку.

«Ну вот, тут все и кончится! — подумал он. — Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большой

ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то вошел, перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстуке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш, — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако,

пожалев, что не выдержал независимого тона.

Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека.

В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысинами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому

учит немецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами, а тот в деланном испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность.

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно недослышав, озабоченно нахмурил лоб.

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить, — сказал Сотников.

Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уже терпеть.

Полицай кивнул Гаманюку.

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет орудия пыток — должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытают, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес большую

эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять.

— Ну, познакомимся, — довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. — Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим, — сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем, — согласился следователь, хотя ничего не записывал. — Из какого отряда?

Ого, так сразу и про отряд! Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.

— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью, однако, и выдававшие тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверно имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно наконец прорвется, хотя и не знал, как крепки нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет наконец с себя маску.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно пособником у вас эта женщина?

— Никакой она не пособник. Мы случайно

зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было, — спокойно объяснил Сотников.

— Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к лесиновскому старосте вы также зашли случайно?

Вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверно, в тот самый вечер. «Пожалели, называется, не захотели связываться», — подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно, — после паузы твердо сказал Сотников.

— Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, только жалел несчастную Дёмчиху,

которую неизвестно как надо было выручить.

— Вы можете поступить с нами как вам заблагорассудится, — сказал Сотников. — Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет, — глядя в упор, объявил следователь. — Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно соврешь в мелочах — не поверит и в правду. А правду о Дёмчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь.

— А если я, например, все объясню, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь.

— Я не обязан вам ничего объяснять! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся», — уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверно, пропала Дёмчиха.

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы! Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ощетинился следователь. — А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы! Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников. — Недавно еще, наверное, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с допросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то

вели или даже уносили. Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите? — сказал Сотников.

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он

умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуете?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем, — сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога, кажется, его выдержка кончилась. — Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко беспокоились.

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен

многими обязанностями перед людьми и страной, возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались не равными, преимущество было на стороне противника: все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов вперил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно, казалось, опять уходит сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал: это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу к господину следователю!», после чего Портнов, обойдя

стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий, буйволоподобный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз.

— А ну!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А ну, большевистская гнида!

Глава двенадцатая

«Достукался!» — почти зло подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Дёмчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Дёмчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила тьма, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загремел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Дёмчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади: оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту.

Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицаем и Дёмчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут,

маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем лязгнул засов, Дёмчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери доносился их удаляющийся, деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве.

— Садись. Чего стоять? Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устра-

ивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и...

«Так-так», — стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой? — несколько деланно удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свету из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежли забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что!.. Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции уже все известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно

непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, а им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак нисколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли всего только овцу, и не у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и только удивлялся, как это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда

начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — затянуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та порешит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и сонно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его... Правда, он не хотел думать об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробивались тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на

затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погрузившись в свои тоже, разумеется, невеселые мысли, — теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полицая ночью поранил, неизвестно, выживет ли, — после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его.

Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить?

Рыбак затаив дыхание слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает, — сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а, — вздохнул Рыбак. — Значит, кокнут. Это у них просто: пособничество партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься...

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму...

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и

поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!», и в тот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут, — сказал Петр. — И на людей не смотрят — носятся, как холеры какие. Наверно, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют.

— Крысам теперь только и шнырять.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс. Ах ты боже мой...

Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полицай хохотнул коротко и противно, а в Ры-

баке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом: его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старосты осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полушубочек и скинешь, — с силой хлопнул его по плечу Стась. — А ничего полушубочек, ей-богу. И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда? — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой

в добротном хромовом сапоге. — У тебя какой номер?

— Тридцать девятый, — солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг вызверился полицай. — Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрямиться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери:

— Можно?

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полицай-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек.

Он был явно рассержен чем-то, его немолодое

личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак, — подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно...

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа в ответах, но Рыбак

опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы, — сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Проверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колене полу полушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу», — с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте.

— Так, так, понятно, — соображая что-то, прикинул следователь. — Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд.

Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь.

Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не затем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять: верят ему или нет?

— Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжал допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору; кажись, от Сотникова они немного узнали, значит, можно насказать сказок — пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении

к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им.

— Так! — Следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я, — сказал Рыбак не слишком, однако, решительно.

Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: «Чтоб ты издох, сволочь!» Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Я недавно в этом отряде...

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов. — А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр.

— Ах, Петр.

Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник, но тотчас он сообразил: следователь хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля, — терпеливо поправил Рыбак. — Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда же?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать

будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтярня, Ульяновка. Ну и эта, как ее... Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Дёмчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавшие в поясе бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выгородить Дёмчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. До Дёмчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся. — Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически ухмыльнулся. — Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланной преданностью взглянул в живые, с начальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраняй жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплеванного помещения раздались

вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это... Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой?

Стась встрепенулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Гы, значит, откладывается? — дернул его за рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое лицо полицая.

Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

Глава тринадцатая

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали...

Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь.

— Черти! Не слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытье и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг, Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода...

Спустя некоторое время он все-таки дождался

котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вожделенное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести — десяти секунд, наверно, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бессмыслицей, за которой едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие и без того нестерпимые его страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в крова-

вых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо... — сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай! — злобно заметил Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек помирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно; Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Звери!

— Тихо вы! — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, паузы, — наверно, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промычал что-то Сотников.

— Да-а, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет.

Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему важно было выиграть время — все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло, — рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик.

Эти его слова неприятно задели Рыбака — какое

ему дело? Но он спокойно ответил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмотрел в угол — становилось не по себе от непрошеных пророчеств этого человека: откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каблуки. Шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась.

— На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтрему был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицая круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного сыграть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола ту-

лупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно, трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на солому.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось, — выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как теперь самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не

знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, не очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю, — шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом. — Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и...

— Ничего я им не скажу, — перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не услышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят.

Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более ненадежном месте.

— Слушай! Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет, — наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

«Вот дурила», — подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай, — помолчав, горячо зашептал Рыбак. — Нам надо их повадить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь

— и все пропало. Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию, — как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься, — язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело; Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задышал труднее — от волнения или от хвори; попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться...

— Для кого стараться? — срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: — Не в карты же играть они

тебя в полицию зовут.

«Наверно, не в карты», — про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной, игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь, — сказал он. — Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

«Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудаком человеком», — подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется

жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину. Пусть напорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в забытье, и Рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет — он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицаями обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Странным это было и противным — думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В его смерти он видел единственный для себя

выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там: длинный и тонкий хвост настороженно пролег по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог, сидел и с неясным брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.

Глава четырнадцатая

Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое место в углу.

Полицай не спешил закрыть двери, и Рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь наконец затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако, — на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его са-

мообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало. Будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда, — согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разгладил усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд ну и еще кое-что.

— Вот как! — неприятно удивился Рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. — Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников.

— Кто это?

— Да тот, лесиновский староста, — подавленно сказал Рыбак.

Разговор на этом прервался, Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять затопали шаги на ступеньках, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и теперь, видно, не забирали никого — напротив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась и полицай, посвистывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу, — маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак. — Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Дёмчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр.

— Это Меера-сапожника дочка. Допрашивали тебя?

— Ага, — тихо подтвердила девочка.

— Меера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот... одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?.. — И Петр вновь тяжко вздохнул.

Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встре-

воженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места — где-то поблизости сидели женщины, — почему же девочку подсадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.

— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... Это так. А ты не сказала?

Бася затаилась, будто обмерла, молчала.

— И не говори, — одобрил погодя староста. — Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченое, а про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор, рядом тихонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, замате-рились — сомнений не было: это возвращали с допроса Дёмчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в преж-

нюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Дёмчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужчины, а, божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. — До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая.

Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром грос аллес капут! Фарштэй?[15]

«Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась,

---

[15] Примечания: 15

Искаженный немецкий: «Всем большой конец! Понимаешь?»

потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Демки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться к Дёмчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Дёмчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал — было за что. Но она мало-помалу успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а, — озадаченно вздохнул Петр. — А Демьян в войске...

— Ну. Демка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие...

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Дёмчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровался.

— Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный!

— А полицайчик этот тоже с вашего боку буд-

то?

— Стась-то? Наш! Филиппенок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал — страх! В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал — божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрищеных, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди, нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродкам этим.

— Я вот думаю все, — беспокойно заворошился староста, — ну пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. И стреляют! Сколько перебили уже...

— Как этот, как его... Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лесиновский староста.

Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила

Дёмчиха.

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут, — вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь... Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу назна-

чат — совсем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а, — неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое, — буркнул Рыбак, закругляя неприятный для него разговор.

То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо: адски болела нога от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось как с Дёмчихой, которая явилась перед

ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещее сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл лишать жизни эту несчастную Дёмчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

Глава пятнадцатая

Как-то незаметно Рыбак, сдается, заснул, как сидел — сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытье на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хрипловатый старческий шепот — это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, говорит, прячься». Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куст в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку — как сидишь тихо, не шевелишься, нисколечко тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется — позовет, я

услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, стало страшно. Все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводы, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу, тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать, — спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот... Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму и бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это

прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на отшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полок босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на господа бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых, чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок — и на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни через пятнадцать лет, задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла...

Прощаясь тогда, Рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок.

Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно, остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью на огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет...

— Пусть бы мышей ловил, — отозвалась из темноты Дёмчиха. — У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромадного, да на чердак не встащила — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так то, наверно, у нее котята были, — догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно... Ну, а потом как же ты?

— Ну так и сидела, — тихонько и доверчиво шептала Бася. — Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай — свиньи там были. Ну и я возле них. Затиснусь ночью между свиньей и подсвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— А, господи! Вот намучалась, бедная! — вздохнула Дёмчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела... Ну там в корыте выбирала что-то...

— Ой, до чего людей довели, боже, боже!.. А хозяева что, так и не заметили?

— Заметили, конечно. Заспала однажды — уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен, притаилась. Толстый такой клен там...

— Ой, наверно, что против аптеки? — догадалась Дёмчиха. — Так там же Игналя Супрон жил...

— А тебе что? — неласково перебил ее Петр. — Кто ни жил, не все ли равно? Зачем спрашивать.

Дёмчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! А что потом... Ни к чему теперь и таиться — все равно... Свет не без добрых людей: Басю ко мне переправили, в деревню. Рассудили верно — у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались: меня с печки

стянули, Басю из-под пола выволокли...

Рыбак совсем не удивился и этому, подумал только: плохо прятал, значит. Спрятал бы хорошо — не нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними! Что они, все ему? К тому же, наверно, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погодя нарушила Бася.

— Под полом мне было хорошо: тетка Арина мне сенничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула и сразу слышу — ругаются. Полицаи!.. Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнаглели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не

страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол, садись. И я тут... Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Дёмчиха.

— Так что ж... Что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля Рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось, вопреки желанию, — видимо, тот давний случай имел

какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это считалось совсем уже мальчишечьим делом. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокую, с водой, рытвину в логу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком возу, как всегда уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью, конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза.

Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной, в другой раз он, наверное, ни за что бы не выдержал, но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага.

Потом его хвалили в деревне, да он и сам был доволен своим поступком — все-таки спас от беды себя, коня и девчонок — и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить.

И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв.

Только здесь не растеряться мало, и никакая

смелость здесь не поможет, здесь нужно что-то другое, чего ему явно недоставало. Тут он связан по рукам и ногам и, видно, ничего уже сделать не сможет.

Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверно, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверно, уже поздно.

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему...

Глава шестнадцатая

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота; столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было темно и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым, напряженным вздохам, скупым движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков: оставить его живым они не могли — могли разве

что замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо; пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью, и он почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте великой войны.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, — как позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашло смерть и от его руки.

И вот наступил конец.

Все сделалось четким и категоричным. И это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет.

На первый взгляд это казалось странным, но,

примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни, — теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он — командир Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу, он жертвовал собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать

и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодновато, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне — неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.

Приснился ему странный, путаный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сот-

никова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом — действие почему-то происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленные пылающие угольях, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...»

Сотникову показалось, что это из библии — толстая ее книга в черном тисненом переплете

когда-то лежала на материнском комоде, мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшало-книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как библию цитировал отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...

Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того — кавалерийского поручика с двумя «Георгиями» на широкой груди — офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда

сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер — вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие — ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.

Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери.

И тогда мальчишка решился взять пистолет сам.

Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная

разноголосица часовых механизмов; мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо натянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А.Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими вороненными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал пистолет — подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить руко-

ятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было не просто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и

складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолел мариниста?

Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына.

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил, — упавшим голосом произнес сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога. — Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.

— Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?

— Да.

— Если сам, конечно, надумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул.

— Ну и за то спасибо.

Это было уже слишком — ложью покупать отцовское спасибо, в глазах у него потемнело,

кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй, — сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то ослушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась...

Глава семнадцатая

В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги, глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери, временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмиревшей Дёмчихи напротив; в углу неподвижного, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно

грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля[16] еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу. Но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Дёмчиха из-под смятого платка

---

[16] Примечания: 16

Шуфля (укр.) - совковая лопата.

также тревожно-понимающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загремела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног — и в дверь», — с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг[17] спать! — во все горло заревел полицейский. — Отоспались. Выходи: ликвидация!

---

[17] Примечания: 17
Genug *(нем.)* - довольно.

«Значит, не ошиблись, действительно конец, — пронеслось в сознании Рыбака. — Если бы кого одного, а то всех, значит...» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохав, начала подниматься Дёмчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище. — Ну ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметайсь! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться, — сострил Стась и тут же вызверился: — Гэть, юда[18] паршивая!

---

[18] Примечания: 18
Искажённое Jude *(нем.)* - еврей, жид.

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием наизготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановилась Дёмчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шинели.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся.

Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойно:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился — не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю, — проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног.

Но полицай сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и глянул через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему, — такого, наверно, не испугаешь. Тогда он

ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: — Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или нет?

Но до Портнова, наверное, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Дёмчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Дёмчихи.

Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено, будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной, полицейской форме: черных

коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах, при пистолетах; двое, наверно немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе.

Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановись на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицая, — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака. — Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите одного меня.

Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности.

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой.

— Ведите!

«Вот как, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?

Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний

следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была — теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господин следователь! Господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так, я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил...

Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и необмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным, ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой

готова была навсегда оборваться.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен, — со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак.

Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих, — теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернул-

ся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Дёмчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые, а, божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой.

— Ведите! — сказал он и повернулся в сторону Рыбака. — Вы подсобите тому, — вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась Дёмчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и Рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...

Глава восемнадцатая

Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно. По крайней мере, не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей

шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.

Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Сотников понемногу приходил в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узень-

кий огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился: какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или скорее всего согнали население, чтобы устрашить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам, — теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не

хватало дыхания, в глазах темнело, дорога то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главною целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились, впереди послышался разговор по-немецки — несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживающего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения — дальше дороги не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых, со

знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздником ее убирали дерезой[19] и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерневших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверно специально ради такого случая выписанных со склада, веревок.

А он думал, будет расстрел...

---

[19] Примечания: 19

Дереза - колючий кустарник семейства пасленовых.

Двое — полицай и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую, колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унизительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей.

Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов, это их право, их звериный обычай, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закостеневшую, болезненную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать-двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел

дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколона, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что

делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не

застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно, и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Дёмчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край, к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Дёмчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь нога-

ми, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю.

— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал Будила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Дёмчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему Рыбаку: «Держи!», он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взо-

брался наверх.

Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой — в этом все дело.

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Дёмчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках — приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей,

чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки, ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб ста-

рой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороженностью на бледном, болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток.

Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздались команды по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Дёмчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястну-

ла вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Дёмчиха, — дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему: чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел

так, все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.

Глава девятнадцатая

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Дёмчихой, болталась налегке пятая веревка — не дождется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Дёмчихи желтый фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не

зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!

Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настороженно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! —

с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты околел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами.

— А ты думал!

— Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак. — О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при чем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув набок головы, с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы, но

никто из полицаев даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных встал часовой — молодой длинношеий полицайчик в серой суконной поддевке, с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полицаи привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти уже не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка в буденовке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней

его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти.

— Смирно!

Полицаи в колонне встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова

в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло: он был среди победителей. На полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это нимало не трогало, наверное, сказывалась привычка, на бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг

или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь, — какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого, нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове, оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги

к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего.

— Мабуть, без привычки? Научишься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честолюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы тот не

заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то, живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай громогласно доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами Рыбака. — Ты зайдешь ко мне.

— Есть! — сжавшись от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок.

— Яволь[20], а не есть! Привыкать надо.

«Пошел ты к черту!» — выругался про себя Рыбак. И вообще пусть все летит к дьяволу. В тартарары! Навеки!

---

[20] Примечания: 20
Jawohl (нем.) - слушаюсь, так точно.

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолкались, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

— Эй, ты куда?

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досок вверху чернели полосы толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень

сняли у него полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть, как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверно, ничего уже не поделаешь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок

и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.

1969